

СВЕТ

СБОРНИК РАССКАЗОВ



ИГОРЬ МАЛЫШЕВ

Родился в 1972 году в Приморском крае. Живет в Ногинске Московской области. Работает инженером на атомном предприятии. Автор книг «Лис», «Дом», «Там, откуда облана»,

«Норнюшон и Рyleйна», «Маян», «Номах». Дипломант премии «Хрустальная роза Виктора Розова» и фестиваля «Золотой Витязь». Финалист премий «Ясная Поляна», «Большая книга» и «Русский Бунер».

Все огни – огонь.

Х. Кортасар

Страх

Я знаю, как выглядит мой страх – слепое голое существо с большими зубами и мощными передними лапами. Похоже на крота, но не крот. Я знаю, где он живет, мой страх, – у меня под ногами, в земле. Там он роет бездонные и бесконечные ходы, глубокие и запутанные, как лабиринт Минотавра. В какой-то степени он и есть мой Минотавр – житель лабиринта. Я знаю, чувствую, вижу, как он раздвигает земляные пласты под моими ногами и бредет, бредет в чреве земли. Он червь, насекомое, вроде ухвертки. Он слеп, его нос чуток, он чует запах опасности, как акула кровь. Он жаден, гадок, он любопытен, как сто тысяч муравьев. Он всеяден, его зубы крепки. Он может разгрызть любую кость, чтобы добраться до желе мозга.

Он бредет через бесконечные земляные пространства, разгребает землю, будто пловец. Он способен забраться как угодно далеко, но как бы далеко ни забрался мой страх, он всегда под ногами. Он способен превратить камень под моими ногами в желе, а желе в камень. Он роет и роет ходы, и я знаю, что в любой момент могу прова-

литься в вырытые им катакомбы, полные мокриц и рыхлой земли.

Он шумно и свистяще дышит. От его дыхания закладывает уши, как от низко пролетевшего реактивного бомбардировщика.

Самое отвратительное ощущение, что я знаю, – это когда земля шевелится под ногой и зубы слепого голого существа смыкаются на лодыжке. Желтые костяные зубы прикусывают ногу, останавливают кровоток, и ты чувствуешь, как погружаешься под землю, в ее вязкую рыхлость и мягкость, в ее беспроглядную темноту. Чувствуешь, как земля, развошенная страхом, забивает рот, набивается в глаза. Ты смотришь, не закрываешь глаз, но видишь перед собой только землю, землю, землю. И вот ты уже дышишь землей, ее свежим могильным холодом. Ее обнуляющей все и вся прохладой. Слышишь, как шумят подземные воды, слышишь ход червей и копошение муравьев в подземных тоннелях муравейников. Слышишь шмелиное шевеление в норах, ход мышей, муравьиных львов. Слышишь, как зарываются в ил рыбы в озерах, как капают капли со сталактита на сталагмит в далеких каменных пещерах. Слышишь, как текут подземные реки и слепые мальки бьют в них хвостами. Тебя оплетают корни трав, белые, тонкие, лезут в подмышки, проникают в уши, ноздри, оттуда прямо в мозг, раздвигают извилины, ползут змейками в позвоночник.

Это страх. Ход его черепаший и неостановимый. И вот ты уже забыл, как поют светляки, как падают звезды и летят спутники, как загораются спички, чтобы зажечь костер. Забыл, как трепещет утреннее солнце на волне пруда, как дрожит под ветром паутина в бисере росы, как котята сосут молоко из сосцов солнечно-рыжей кошки, развалившейся по-хозяйски посреди двора, так что даже псы и гуси обходят ее стороной. Забыл, как поворачивается черный облупившийся флюгер под изменившим направление ветром, как волны играющими шенками куврякаются по прибрежному песку. Забыл, как светятся волосенки сына сразу после купания, как он тянет руку к твоему лицу и хочет ухватить за нос, агукая, словно убеждая тебя, что так и надо, что так будет всем только лучше. Забыл, как летит в озеро с тарзанки твой деревенский приятель, который глупо умрет в двадцать два. Забыл, как мать и бабушка наперебой ругают тебя десятилетнего, явившегося с рыбалки в двенадцать ночи, в полной темноте. Забыл, как звенела цепью корова, когда ты неподалеку в первый раз в жизни целовался с девушкой, разбитной, грудастой, несмотря на юные пятнадцать лет, москвичкой.

Забыл, забыл... Смотри, вот ты все и забыл.

Остался только страх, ворочающий землю под твоей ногой. Нюхающий тебя чувствительным носом. Шелкающий изогнутыми, цвета старого бильярдного шара зубами. Осталась только стерильная чистота оконченной жизни, стерильность подземного мира, когда уже никто не может ни навредить, ни тем более угрожать живому.

Тебе не прокукует кукушка, не пробьют Новый год куранты, не вспыхнут морозные огни на елке, не сыграют шумную сонату мелькающие в темноте окна электрички, не упадет диск солнца в вечернюю реку. Не прошуршит песок, пересыпаясь в песочных часах, не вздрогнет гиря ходиков, не взлетит самолет, оторвавшись жесткими круглыми колесами от бетонной полосы, проводник не хлопнет дверью и не принесет чаю. Не стукнет ложка в стакане с серебряным подстаканником, наши не возьмут первое место, вопреки всему не даст росток плод авокадо на подмосковной кухне.

Страх ворочается под ногами, идет волной земля, падают вывернутые невидимым подземельным телом растения. Это он, голый, двузубый, слепой страх. Совершает бесконечно далекие путешествия, чтобы быть вечно под моими ногами.

Солнце высоты

Питерская погода. Проклятая питерская погода. Нет, это не означает, что я живу в Питере. Я живу в городе N, где двадцать четыре часа в сутки, триста шестьдесят пять дней в году питерская погода. Тучи, дождь, иногда снег, иногда просто какая-то гадость, неотличимая ни от дождя, ни от снега. Промежуточное состояние вещества.

Жена говорит, что вся погода у меня в голове, и солнечных дней у нас не меньше, чем в каком-нибудь V или W. Не знаю, возможно, она права. В конце концов, из нас двоих именно я шизоид, а не она. И в моей шизоидной голове круглый год питерская погода с плотными, как мокрая вата, низкими облаками, с ветром, который по ощущениям уже и есть чей-то нездоровый кашель, с последними облетающими листьями, первым падающим снегом. Вечный ноябрь в вечно ненастном городе.

Я ругаю всегда и всех. Я вечно насуплен, простужен, брызжу ядом, и куда меня ни тронь, всюду шипы и острые углы. Да еще и Скорпион по гороскопу. А мы, Скорпионы, те еще мерзавцы, можете мне поверить. Все-таки я уже шестьдесят лет как Скорпион.

Ах, это небо города N! Не устану ненавидеть его. Оно мой враг, оно источник всех моих болезней и радостей. Почему радостей? Погодите, все объяснится в свой черед.

Я хожу под ним, будто с обезьяной на плечах, огромной отвратительной обезьяной, погруженной в депрессию. Огромной, вроде гориллы или орангутанга, погруженной в самую черную жесточайшую депрессию. И эта обезьянья депрессия, конечно же, сообщается и мне. И в итоге я хожу, сгибаясь, под грузом обезьяны в депрессии, сам погруженный в депрессию. Как вам тандем? Обычно тандем предполагает, что двое работают сообща, чтобы быстрее двигаться вперед. Но мы, объединяя наши усилия, добиваемся лишь покорения новых отрицательных вершин. Будто торопимся закопаться под землю.

Я не хочу под землю. Нет, шестьдесят – неплохой возраст, чтобы начать поглядывать с симпатией на то, что лежит под твоими ногами, но нет. Мне есть ради чего жить. Доступны и мне некие тонкие радости.

В шесть лет меня отдали в музыкальную школу, в семнадцать я, как лауреат всех мыслимых конкурсов, был зачислен в консерваторию. Несмотря

на скачки настроения, отвратительный характер и вечный избыток яда под языком, смог отучиться. Выпустился, получил диплом. А дальше пошла череда скачков из одной концертной организации в другую, из филармонии в филармонию, пока я окончательно не рассорился со всеми, с кем только можно было.

К тому времени я уже был женат, и сын успел стать подростком. Моя жена ангел, она не просто терпела меня, она продала квартиру в Москве на Тверском бульваре, и мы переехали в провинцию, в N. На вырученные деньги мы смогли купить в N сразу три квартиры. В одной жили сами, две другие сдавали. Это позволило мне не работать, а сидеть дома и заниматься чистым творчеством. В основном я пишу для себя, но бывают халтурки – песни для местных и даже столичных певичек, музыкальные темы для сериалов и даже один раз для детского утренника. Местный князек захотел для утренника в детском саду, где обитало его чадушко, абсолютно уникальное музыкальное сопровождение от столичного композитора. Я сделал, мне не сложно. Противно, но не сложно.

Отвратительно, гадость, ненавижу. Чтоб вас черти съели, чтоб от вас крест на кладбище сбегал, чтоб на ваши могилы псы блевать приходили.

Еще это небо. Нависает, капля за каплей падает на темечко. Китайская пытка. Злое небо. Комья грязи, а не небо. Пузо лавочника, а не небо. Закат Европы, проклятье Азии и смерть всего живого. Таким небом пугать надо, наказывать им надо, а не жить под ним.

Впрочем, иногда я вспоминаю, что это небо есть только в моей голове, и меня, пусть ненадолго, отпускает.

Так вот, о тонких удовольствиях.

Ночь. Тишина. Жена и сын спят. Они долго не ложатся спать, особенно сын. Но все же укладывается и он. Для меня это важно, знать, что я здесь один. Спящий – не вполне человек, он не мешает. Не думает, не производит иного шума.

У меня великолепный синтезатор. Едва ли не лучший, какой можно купить за деньги. Мы могли бы купить четыре квартиры, но купили три и этот синтезатор. Полная имитация клавиш рояля в смысле звукоизвлечения, в плане диапазона – полная рояльная. Не синтезатор – чудо. Играешь и подчас забываешь, что это не настоящий рояль. Плюс у меня великолепные наушники. Такие только в «Эппл-рекордс» на Эбби-роуд и еще нескольких лучших студиях мира.

Мне нельзя пить. Врачи запретили, да и сам знаю. Но раз в неделю сын украдкой приносит мне ноль-пять «Джека» и оставляет за синтезатором, вдали от бдительного ока жены. Почему виски? Метод проб и ошибок привел меня именно сюда.

Итак, дом «затих. Я вышел на подмости»... Нет, я сел к роялю. Достал «Джека». Первый глоток, второй, третий. Начинаю играть. Иногда что-то свое, иногда «Бранденбургские концерты» Баха, иногда Прокофьева «Ромео и Джульетта». И Чайковский. Я обожаю Чайковского. Лучший мелодист всех времен и народов. Мелодия – душа музыки, Чайковский – одна сплошная душа. Я играю и в какой-то момент чувствую, как отрываюсь от земли. Земляная тяжесть отпускает меня, комья глины опадают с ног, клочьями мокрой бумаги падает одежда. И я поднимаюсь, поднимаюсь, теряю вес, грамм за граммом, медленно, но неотвратно. И вот я уже не я, а клочок пара. Я покидаю квартиру, дом, улицу, город и упираюсь в вязкое, будто смола, небо города N. Я упираюсь, вклиниваюсь, я смел, я дерзок, я яростен. Я раздвигаю головой, плечами эти плотные напластования туч, я прорываюсь. Порой не хватает воздуха, но я уверен в себе, я знаю, скоро все кончится. Я двигаюсь, прорываюсь. Соппротивление возрастает, тяжесть растет, кажется, сейчас эта масса задушит и раздавит меня, но внезапно все кончается. Соппротивление исчезает, и я оказываюсь с той стороны облаков.

Здесь вечное солнце, здесь столько воздуха. Кислород высоты! Я пью его, дышу им. Я вырываюсь из туч и падаю в чистоту кислорода, солнечного света и невесомости. Ничего вокруг, только солнце и я. Я разговариваю с солнцем, как древний жрец с богом. Нет преград, нет препятствий. Только чистая радость, чистое счастье. И я куврыкаюсь в них, делаю самые немислимые кульбиты. Я живу, я весь солнце и музыка...

Утром ритуальный скандал. Но он потому и ритуальный, что несерьезный. Жена трясет перед сыном бутылкой «Джека», он вяло пожимает плечами и зевает.

– Ему нельзя пить! – говорит она одни и те же положенные слова. – Совсем нельзя пить.

Я просыпаюсь, и мы садимся завтракать. Завтрак проходит прекрасно. Несмотря на похмелье, я все еще полон солнцем, в свете которого оказался, прорвавшись за облака.

Мы о чем-то беседуем, много шутим и смеемся. Я смотрю на мою семью, и моими глазами смотрит на них и греет их солнце высоты.

Падение оглушает меня, но только на мгновение. Я встаю на ноги, помогая себе руками, выбираюсь из окопа, ищу глазами светлячка. Нахожу и устремляюсь снова следом за ним.

Замечаю, что в руке у меня гриб. Машинально схватил, когда выбирался из окопа. Окопы вообще грибные места, мама всегда советовала их внимательно осматривать.

Я продолжаю свое путешествие за светлячком.

Насмешливый читатель уверен, что путешествие кончилось ничем. Но он ошибается, наш насмешливый и циничный читатель. Светлячок привел меня к цветку папоротника. Я же говорил, что умею выбирать проводников. Удача не удивила меня. Я знал, что я центр этого мира и все будет так, как я захочу.

Светлячок подлетел и исчез в свете, который распространял вокруг себя цветок. Исчез, растворился, как и не было.

Я не стану описывать, какой он, цветок папоротника. Чудо должно оставаться чудом, и оно выше любых описаний.

Когда я вернулся домой, мама и бабушка мельком взглянули на меня, отвлекшись от телевизора. – Что-то ты долго.

Я снял сандалии, подошел, и тут они увидели гигантский подосиновик с яркой даже в иссушающем свете телевизора шляпкой.

– Ма, ты смотри, что он нашел! – восхитилась мама. – Тут же на целую кастрюлю супа хватит. Если не червивый.

Она отломила край у шляпки.

– Чистый! Ну все, завтра с супом.

Когда я уже лежал в кровати и голова моя утопала в дремоте и бездонной бабушкиной подушке, мама поцеловала меня в щеку и спросила:

– Где ж ты такого красавца нашел?

– В дремучем лесу, – ответил я, закрывая глаза.

Она подула мне в лицо, и очнулся я только на следующее утро.

Время

Я знаю, как движется время. Я видел. Я видел, как мир становится не таким, каким ты его знаешь. А это и есть время.

Мое детство – это три месяца в деревне и девять месяцев школы в промежутках. Девять непонятных месяцев. За девять месяцев может появиться новый человек. Но я чувствовал себя человеком только на протяжении тех трех меся-

цев в году, что проводил в деревне, все остальное время я, по-моему, спал.

Мое детство – это пруды с рыбалкой и купанием, это бабушкин чердак, где мы с братом, сестрами и друзьями пропадали днями и ночами. Чердак – культовое место. Прогретый солнцем, крытый шифером и рубероидом, с балками и поперечинами, пробитыми толстыми, с детский мизинец, гвоздями. Выстланный сеном, он пах жарко и сенно. У нас там был «штаб». Мы хранили там наши непутевые сокровища – рогатки, самострелы, гильзы от ружейных патронов, свечи, лампы, фонарь, ножи. Там мы читали книги, составляли планы и заговоры, мирились и враждовали. Там было сердце нашего деревенского бытия. Стол – четыре посылочных ящика под квадратным окошком на треугольной стене, место нашей силы и мудрости.

Отсюда, с этого чердака, я, десятилетний, прыгал, чтобы испытать себя. Здесь я сушил тараньку – рыбешек, пойманных мною в окрестных прудах. Ах, эти карасики размером с листок липы – самое вкусное, что только можно попробовать! Жизнь – аксиома довольно скучная. Не все лучшее находится далеко, что бы ни шептала наша фантазия.

На чердак к нам приходили кошки и котятка, прилетали бабочки...

Кстати, о бабочках. В пору моего детства эта нехитрая фауна исчерпывалась шоколадницами и капустницами, они же лимонницы. Невзрачных молеподобных созданий и ночных мотыльков я не считаю. Если мы встречали хотя бы раз за лето павлиний глаз или адмирала, это становилось событием.

Когда мне было четырнадцать, чердак сгорел. Поскольку первое подозрение пало на нас и наши посиделки, то после того как крышу отстроили заново, пускать на чердак нас перестали.

Снова попасть туда мне пришлось в голову лет семь спустя.

К тому времени мир насекомых изменился до неузнаваемости. Встретить павлиний глаз или адмирала стало обычным делом, а вот капустницы, лимонницы и шоколадницы внезапно исчезли и встречались уже не роями, как это бывало в пору моего детства, а по отдельности, да и то редко.

С прудами к тому времени тоже что-то произошло. Они уменьшались, зарастали камышом и тростниками. Гладь их укутывала плотная, будто шуба, ряска.

Все менялось.

Неизменный, вечный, яркий и ясный мир моего детства исчезал. Его выживал мир новый, вязкий и невзрачный, как ряска.

Время – это исчезновение твоего мира. Я видел, как мир становится чужим. Это и есть время.

Спустя семь лет я поднялся на чердак, наше убежище, цитадель и укрытие. Он был пуст. Не было ни сена на полу, ни ящиков, они, понятное дело, сгорели при пожаре, ни окна на треугольной стене. Было пусто и безжизненно. Хотя нет. Не безжизненно. Тут были следы чужой, абсолютно чужой жизни. Возле печной трубы, наверное, единственной не изменившийся детали, лежал череп крысы с отгрызенной верхней частью. Что-то отгрызло голову, принесло ее сюда и здесь съело мозг грызуна. Такого в пору моего детства я не встречал и даже не слышал о таком. Кости крысиного черепа почти терялись на светлом фоне досок.

Я подошел к треугольной стене, где раньше светилось окно. Увидел наклепанные на белесые доски хаотично разбросанные куски рыжей глины. Поднял изломанный гвоздь, ковырнул один из кусков, открылось белое осклизлое и беззащитно-отвратительное тельце личинки. Кто это? Шершень? Неведомый мне жук или бабочка?

Чердак стал обиталищем чужих. Наш чердак! Теплый, уютный, с голубеющим в окне вечерним небом, со свечкой, чей огонек так нежно подрагивает в неподвижном воздухе, он стал обиталищем шершней и тех, кто разгрызает черепа и поедает мозги. Враждебность стала физиологически ощутимой. Мурашки разбежались стайкой по коже.

Я ушел с чердака и понял, что лучше туда не возвращаться.

Время работало, время заселяло привычные пространства чужими. Время шло потоком, катком, катом, и ты ничего не мог с этим сделать.

Где бабочки твоего детства? Их нет. Где пруды, в которых ты купался и ловил рыбу? От них остались ямы со вспузырившейся землей, пятна буржуазно-самодовольной ряски и рать камыша. Где исполины-деревья, под которыми вы жгли костры и впервые целовались? Они рухнули, и на их месте встает агрессивный, как наждак, молодецкая подростка.

Все куда-то уходит. В прошлое, в память, в небытие.

Ты чувствуешь, как чужое и чужие вылупляются из глиняных коконов и крадутся к тебе, обещая, что больно не будет. Но больно будет. Настоящее превращается в прошлое только через боль.

Рушащийся дом – это боль всех, кто когда-либо жил в этом доме. Время – миллионы лезвий, и оно режет, режет, режет, пока не изрежет тебя в ничто. Что я делаю здесь? Я противостояю, противоборствую иссекающим, превращающим мой мир в ничто лезвиям времени. Наш чердачный штаб жив, пока я помню о нем. Теперь и вы знаете о нем. Теперь и вы будете драться с небытием. Теперь и вы будете защищать пруды моего детства, до последнего малька и головастика, от этих челюстей, этих лезвий, вечных, непобедимых. Мы чего-то стоим, пока мы что-то помним. Время жадно, за ним следуют легионы чужих. Но моя задача проста. Я противостояю чужим, я берегу своих. Мы не победим, наша борьба обречена и потому прекрасна. Прекрасно только смертное. Вечное не прекрасно и не безобразно. Оно вне категорий и оценок. Оно самое скучное, что только можно вообразить.

Пруды живы. Чердак жив. Горит свечка на нашем столе из четырех посылочных ящиков. В окно, привлеченные светом, бьются ночные бабочки. Мы составляем планы и заговоры. Мы будем жить вечно и именно поэтому невероятно серьезны. Времени нет. Все здесь. Лепесток пламени. Тени играют на лицах брата и двух сестер. И нет ничего более вечного.

